РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ



рассказы зарубежных писателей

Рождественские истории. Рассказы зарубежных писателей

Джером Клапка Джером, Ганс Христиан Андерсен, Элизабет Гаскелл, Ги де Мопассан, О. Генри

Аннотация
Рождественские истории. Рассказы зарубежных писателей
О. Генри. Дары волхвов
Элизабет Гаскелл. Рождественские бури и штиль
Ганс Христиан Андерсен. Ель
Джером Клапка Джером. Встреча автора с ангелом
Ги де Мопассан. Рождественская сказка

Аннотация

В книге собраны вечные произведения таких мастеров слова, как О. Генри, Ганс Христиан Андерсен, Джером К. Джером и других великих авторов. Их трогательные истории в искусных переводах подарят вам минуты искреннего счастья и вдохновения.

Этот сборник – идеален для уютных зимних вечеров и праздничных чтений, которые объединяют поколения. Почувствуйте магию Рождества в каждом слове и позвольте этим историям согреть ваш дом.

Рождественские истории
Рассказы зарубежных писателей

Изразец на обложке предоставлен керамической мастерской «Москерамика»
Художник изразца Анна Дорн

© Озерская Т., перевод на русский язык. Наследники, 2025
© Матвеева А, перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

О. Генри
Дары волхвов

Один доллар восемьдесят семь центов. Вот и все, что было. И шестьдесят центов из них были мелочью. Мелочь эту выгадывали по одному и по два цента, торгуясь у бакалейщика, зеленщика и мясника, пока щеки не начинали гореть от молчаливого обвинения в скупости, которое подразумевал такой активный торг. Делла трижды пересчитала деньги. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра будет Рождество.

Очевидно, теперь ничего не оставалось, кроме как плюхнуться на маленький потертый диванчик и заплакать. Так Делла и поступила. Это порождает моральное суждение о том, что жизнь состоит из рыданий, всхлипываний и улыбок, причем преобладают всхлипывания.

Пока хозяйка дома постепенно переходит от первой стадии ко второй, давайте взглянем на дом. Меблированная квартира за 8 долларов в неделю. Это не такое уж бедное описание, но слово «бедный» определенно употреблялось отделом полиции по борьбе с попрошайками.

В передней внизу был почтовый ящик, в который было бы трудно просунуть даже одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которого палец ни одного смертного не смог бы извлечь ни звука. Рядом с кнопкой также была карточка с именем «Мистер Джеймс Диллингем Янг». Деньги на надпись «Диллингем» были брошены на ветер в прежний период процветания, когда ее обладателю платили 30 долларов в неделю. Теперь, когда его доход сократился до 20 долларов, надпись «Диллингем» выглядела размытой, как будто буквы всерьез подумывали о том, чтобы сократиться до скромной и непритязательной буквы «Д». Но всякий раз, когда мистер Джеймс Диллингем Янг возвращался домой и поднимался в свою квартиру наверху, его звала «Джим» и крепко обнимала миссис Джеймс Диллингем Янг, уже представленная вам как Делла. И все это было очень хорошо.

Делла прекратила плакать и промокнула щеки пуховкой для пудры. Девушка стояла у окна и меланхолично смотрела на серую кошку, прогуливающуюся вдоль серого забора на сером заднем дворе. Завтра Рождество, а у нее остался всего доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму. Она откладывала каждый цент, который

могла сэкономить, в течение нескольких месяцев, и вот результат. Двадцать долларов в неделю — это не так уж много. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. Так всегда бывает. Всего доллар восемьдесят семь центов на подарок для Джима. Для ее любимого Джима. Как много счастливых часов она провела, придумывая для него какой-нибудь приятный подарок. Что-то прекрасное, редкое и безупречное — что-то хоть немного близкое к тому, чтобы быть достойным чести принадлежать Джиму.

Между окнами комнаты стояло трюмо. Возможно, вам доводилось видеть трюмо в квартире за 8 долларов. Лишь очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая за быстрой сменой своих отражений в продольных узких зеркалах такого трюмо, составить довольно точное представление о своей внешности. Делла, будучи стройной, овладела этим искусством.

Внезапно она резко отвернулась от окна и встала перед зеркалом. Ее глаза ярко блестели, но лицо побледнело за двадцать секунд. Она быстро распустила волосы, и они упали ей на плечи.

Нужно сказать, супруги Джеймс Диллингем Янг обладали двумя ценными предметами, которыми оба очень гордились. Одним из них были золотые

часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другим их достоянием были волосы Деллы. Если бы царица Савская жила в комнате, выходящей окнами на внутренний дворик, Делла, однажды помыв волосы, могла бы сушить их у своего окна, просто чтобы обесценить драгоценности и подарки ее величества. Если бы царь Соломон был дворником, хранившим свои сокровища в подвале, Джим доставал бы свои часы каждый раз, когда проходил мимо него, просто чтобы посмотреть, как царь рвет на себе бороду от зависти.

Так вот, сейчас прекрасные волосы Деллы ниспадали на ее фигуру, струясь и блестя, как каскад каштановых вод. Длиной они были ниже колен и укрывали ее, как одежда. А потом Делла снова стала их собирать в прическу нервными и быстрыми движениями. Но вдруг она на минуту заколебалась и замерла, и пара слезинок упала на потертый красный ковер.

Она накинула свой старый коричневый жакет, надела свою старую коричневую шляпку и с шелестом юбок и все еще блестящими от слез глазами выпорхнула за дверь, а потом спустилась по лестнице на улицу.

Табличка, перед которой она остановилась, гласила: «Мадам Софрони́. Товары для волос всех

типов». Делла взбежала на второй этаж и, тяжело дыша, пришла в себя. Мадам, крупная, дебелая и холодная, едва ли походила на Софрони.

— Вы не купите мои волосы? — спросила Делла.

— Я покупаю волосы, — сказала мадам. — Снимите свою шляпку, давайте взглянем на них.

Каштановый каскад заструился сверху вниз.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, взвесив массу волос опытной рукой.

— Поскорее дайте мне их, — сказала Делла.

О, следующие два часа пролетели как на розовых крыльях. Не обращайте внимания на эту избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка Джиму.

Наконец она нашла его. Он, несомненно, был создан для Джима и ни для кого другого. Ни в одном из магазинов не было ничего подобного, а она перевернула их все вверх дном. Это была платиновая цепочка для часов, простая и сдержанная по внешнему виду, должным образом заявляющая о своей ценности только своей сутью, а не вычурными украшениями, как и положено всем хорошим вещам. Цепочка даже была достойна часов. Как только Делла увидела эту вещь, то сразу поняла, что она должна принадлежать Джиму.

Цепочка была такой же, как он. Неброская и ценная — это описание подходило к ним обоим. За цепочку с нее взяли двадцать один доллар, и она поспешила домой с восемьюдесятью семью центами. С такой цепочкой для часов Джиму было бы не стыдно проверять время в любой компании. Какими бы роскошными ни были сами часы, он иногда поглядывал на них лишь украдкой — из-за старого кожаного ремешка, который он использовал вместо цепочки.

Когда Делла добралась до дома, ее радостное возбуждение немного отступило перед благоразумием и здравым смыслом. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась за дело, устраняя ущерб, нанесенный щедростью вкупе с любовью. А это всегда огромный труд, дорогие друзья, просто гигантский труд.

Через сорок минут ее голова покрылась упругими крошечными кудряшками, которые делали ее удивительно похожей на прогуливающего уроки школьника. Она долго, внимательно и критически разглядывала свое отражение в зеркале.

«Если Джим не убьет меня сразу, — сказала она себе, — прежде чем он меня получше разглядит, он скажет, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что я могла поделать — о! что я могла

купить на доллар и восемьдесят семь центов?»

В семь часов кофе был сварен, а сковорода стояла на плите, нагретая и готовая к приготовлению отбивных.

Джим никогда не задерживался. Делла зажала цепочку в руке и села на угол стола рядом с входной дверью. Затем она услышала его шаги на лестнице первого этажа и на мгновение побледнела. У нее была привычка читать маленькие тихие молитвы, прося о чем-то самом простом и повседневном, и сейчас она прошептала: «Пожалуйста, Боже, сделай так, чтобы он не перестал считать меня хорошенькой».

Дверь открылась, вошел Джим и закрыл ее за собой. Он выглядел исхудавшим и очень серьезным. Бедняга, ему было всего двадцать два года — а он уже был обременен семьей! Ему нужно было новое пальто, и у него не было перчаток.

Джим неподвижно замер в дверях, как сеттер, почуявший перепелку. Его глаза были прикованы к Делле, в них появилось такое выражение, которое она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни неодобрение, ни ужас, ни какая-либо другая эмоция, к которой она была готова. Он просто пристально смотрел на нее с этим странным выражением лица.

Делла соскользнула со стола и подошла к нему.

— Джим, дорогой, — воскликнула она, — не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что не смогла бы пережить это Рождество, если бы не подарила тебе подарок. Они снова отрастут — ты ведь не будешь возражать, правда? Я просто должна была это сделать. Мои волосы растут очень быстро. Скажи «Счастливого Рождества!», Джим, и давай будем счастливы. Ты не представляешь, какой хороший… какой прекрасный, славный подарок я приготовила для тебя.

— Ты остригла свои волосы? — спросил Джим с трудом, как будто он еще не осознал этот очевидный факт даже после тяжелейшего умственного напряжения.

— Остригла и продала, — сказала Делла. — Разве я тебе не нравлюсь так же, как прежде? Я все та же, пусть и с короткими волосами, не так ли?

Джим с удивлением оглядел комнату.

— Так ты говоришь, твоих длинных волос больше нет? — спросил он с немного глупым видом.

— Не ищи их, — сказала Делла. — Говорю тебе, они проданы — проданы и их больше нет. Сегодня канун Рождества, мой мальчик. Будь снисходителен, ведь я сделала это ради тебя. Может быть,

волосы на моей голове все сочтены[1], — продолжала она с внезапной серьезностью в нежном голосе, — но никто никогда не сможет измерить мою любовь к тебе. Так мне поджарить тебе отбивные, Джим?

Джим словно внезапно очнулся от транса. Он обнял свою Деллу. Давайте скромно отвернемся на десять секунд и рассмотрим какой-нибудь несущественный посторонний предмет. Есть ли разница между восемью долларами в неделю или миллионом в год? Математик и остряк дали бы вам неправильный ответ на этот вопрос. Волхвы принесли ценные дары, но такого подарка среди них не было. Это непонятное утверждение будет объяснено позже.

Джим вытащил из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не сомневайся, Делл, — сказал он, — насчет меня. Я думаю, ничто, будь то стрижка или шампунь, не могло бы заставить меня разлюбить мою девочку. Но если ты развернешь этот сверток, то, возможно, поймешь, почему поначалу я был в замешательстве.

Белые проворные пальцы порвали бечевку и

---

[1] Примечания: 1
Евангелие от Луки, 12:7. — *Примеч. пер.*

бумагу. А затем восторженный возглас радости; а далее — увы! — быстрая женская смена настроения на истерический плач и всхлипывания, что потребовало от хозяина дома немедленного применения всех средств утешения.

Ведь там лежали гребни — набор гребней, боковой и задний, на которые Делла так давно с благоговением засматривалась в витрине на Бродвее. Красивые, настоящие черепаховые гребни с украшенными драгоценными камнями ободками — у них как раз тот оттенок, который так бы подошел к красивым отрезанным волосам. Она знала, что это были дорогие гребни, и ее сердце просто жаждало их и тосковало по ним без малейшей надежды на обладание. И теперь они принадлежали ей, но локоны, которые эти желанные предметы должны были украшать, исчезли.

Но Делла прижала их к груди и, когда наконец смогла поднять затуманенные глаза, она улыбнулась и сказала:

— У меня так быстро растут волосы, Джим! — И вскочив, как ошпаренная кошечка, воскликнула:

— О, о!

Джим еще не видел своего прекрасного подар-

ка. Она с предвкушением протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заблестел, отражая вспышку ее оживленного настроения.

— Разве это не шикарная вещь, Джим? Я искала ее по всему городу и нашла. Теперь ты сможешь смотреть на часы хоть по сто раз на дню. Дай мне свои часы. Я хочу увидеть, как они будут смотреться вместе.

Вместо того чтобы подчиниться ее просьбе, Джим повалился на диван, заложил руки за голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — давай уберем наши рождественские подарки и некоторое время придержим их у себя. Они слишком хороши, чтобы пользоваться ими прямо сейчас. Я продал часы, чтобы добыть денег на покупку твоих гребней. А теперь, думаю, тебе надо поджарить отбивные.

Волхвы, как вы знаете, были мудрецами — на редкость мудрыми людьми, — которые принесли дары младенцу в яслях. Они и придумали традицию дарить рождественские подарки. Так как они были мудрыми, их дары, без сомнения, были им под стать, вероятно, с возможностью обмена в случае одинаковых подарков. И вот я простыми словами дал вам незатейливое описание жизни

двух глупых юных созданий из меблированной комнаты, которые самым неразумным образом пожертвовали друг для друга своими главными сокровищами. Но да будет сказано в качестве назидания мудрецам наших дней, что из всех людей, дарящих подарки, эти двое были мудрейшими. Из всех, кто дарит и получает дары, мудрее всех такие люди, как они. Мудрее всех и повсюду. Они и есть волхвы.

Перевод с английского А. Матвеевой

Элизабет Гаскелл
Рождественские бури и штиль

В одном городе (нет нужды, где именно) издавались две местные газеты (нет нужды, когда именно). Газета «Flying Post» издавалась давно и имела вид респектабельный, она была органом фанатизма иториев; газета «Examiner» отличалась остроумием и положительностью суждений; она была новая газета и пользовалась покровительством демократов. В этих двух газетах еженедельно появлялись статьи бранного содержания, такие рьяные и свирепые, как обыкновенно бывают статьи подобного рода; очевидно, это были произведения раздраженных умов, несмотря на одно и то же стереотипное вступление: «Хотя статья, появившаяся на прошлой недели в газете „Flying Post“ (или „Examiner“) не заслуживает нашего внимания, но мы считаем долгом» и проч. и проч. Каждую субботу лавочники-радикалы пожимали руки друг другу и соглашались, что умная газета «Examiner» славно отделала, бойко отхлестала газету «Flying Post»; между тем как более степенные тории выражали сожаление,

что Джонсон напрасно расточает свое остроумие против ничтожной газеты, которую читает одна только чернь и которая находится при последнем издыхании.

Не так это было на самом деле. Газета «Examiner» жила и процветала, по крайней мере она окупалась, как выражался один из героев моего рассказа. Это был главный наборщик: пожалуй, вы можете назвать его как вам угодно, я только говорю, что это был человек, заведовавший механической частью газеты. В сочинение больших статей он не пускался, но раза два в неделю, когда оригинала оказывалось недостаточно, он, без ведома редактора, наполнял пустое место собственными своими сочинениями в роде объявлений необычайных предметах, как то: о зеленых бобах и горохе в декабре, о появлении серых дроздов или белых зайцев, и тому подобных, в высшей степени интересных феноменах. Правда, все это был чистейший вымысел, причудливая изобретательность ума, но что же за беда? Его жена узнавала заранее о появлении литературных статей мужа по его особенному кашлю, служившему вместо прелюдии. Вследствие этого ободряющего признака, и громкого, выразительного голоса, которым он читал свои

сочинения, жена его имела расположение думать, что «Ода на рано распустившийся розовый бутон», занимавшая место в отделе, посвященном оригинальной поэзии, и письмо в отделе корреспонденции с заглавием «Pro Bono Publico», были творческими произведениями ее супруга, и на этом основании она нередко вздергивала нос.

Никаким образом не мог я постичь, что заставило Годгсонов квартировать в одном доме с Дженкинсами. Дженкинс занимал тоже место в редакции газеты «Flying Post», какое Годгсон в редакции «Examiner», и, как я уже сказал, предоставляю вам самим дать этому месту название. Дженкинс имел основательное и верное понятие о своем положении и питал должное уважение ко всем властям: от правительства, в лице короля, до редактора и субредактора. Ни за какие сокровища в мире он не решился бы пополнить пустоту в журнале своими сочинениями, и я полагаю, что ненависть его к Годгсону увеличилась бы еще вдвое, если б он узнал о «произведениях его ума», как выражался Годгсон, нежно рассуждая со своей благоверной о статьях, заменявших в журнале пробелы.

Дженкинс также был женат. Только жены и были нужны, чтоб завершить полноту ссоры,

существовавшей в рождественские праздники, лет двадцать тому назад, между двумя соседями, двумя наборщиками. При женах из этого вышла очень миленькая и полная ссора. Для равновесия двух враждующих сторон надобно еще прибавить, что, если Годгсоны имели ребенка (такого милашку! маленького крошку!), то мистрис Дженкинс имела кота (славного кота! огромного, лакомого, умевшего как-то особенно мяукать, кота, который почти постоянно воровал молоко, оставляемое на ужин маленького крошки!). После такого объяснения равномерных сил и средств той и другой стороны мы можем приступить к описанию войны.

Это было накануне Рождества. День был морозный; дул холодный восточный ветер, небо застилалось тяжелыми темными тучами; человеческие лица казались длинными и мрачными, потому что им приходилось пробыть под влиянием такой погоды долее обыкновенного, чтоб сделать закупки для наступавшего праздника.

Утром этого дня Дженкинс, уходя из дому, дал жене несколько денег на покупку провизии для праздничного обеда.

— Для меня, душа моя, купи, пожалуйста, индюшку и сосисок. Быть может, это слабость,

но, признаюсь откровенно, я люблю сосиски. Покойная матушка была неравнодушна к ним. Подобные вкусы передаются в наследство. Что касается до пирожного, до плюмпудинга или сладких пирожков, это я предоставляю на твое усмотрение; об одном только прошу тебя, не стесняйся в деньгах: ведь Рождество бывает только раз в году.

И, спустившись с лестницы, у самых дверей квартиры Годгсона, Дженкинс снова закричал:

— Не забудь же сосисок, душа моя! — («Какое хвастовство!» — заметил мистер Годгсон.)

— Я бы желал, Мэри, чтоб завтра за обедом было что-нибудь сверх обыкновенного, — говорил Годгсон, составляя с женой планы относительно следующего дня. — Но я думаю ограничиться ростбифом. Ведь у нас семейство, душа моя.

— Что за семейство, Джем. Кроме ростбифа, я ничего больше не хочу. Когда еще я не была в услужении, мы с матушкою всегда считали ростбиф за отличное блюдо.

— Уж ты так и сделай… ростбиф и плюмпудинг! И затем, до свиданья. Береги маленького Тома. Мне показалось, как будто он немножко охрип сегодня.

Сказав это, он отправился к своим занятиям.

Прошло уже много времени с тех пор, как мистрис Дженкинс и мистрис Годгсон не говорили одна с другой, хотя каждая из них превосходно знала, что делала и думала другая. Мистрис Дженкинс знала, что Мэри ненавидела за то, что не имела настоящего кружевного чепчика, какой имела мистрис Годгсон; что была она некогда служанкой, чем никогда не бывала мистрис Дженкинс; небольшие ограничения, к которым мистрис Годгсон принуждена была прибегать, чтоб свести, как говорится, концы с концами, Мэри переносила бы весьма терпеливо, если б не боялась, что подобного рода экономия известна мистрис Дженкинс. Но отместка была у нее под рукой. У нее был ребенок, а у мистрис Дженкинс ни одного. За участие иметь ребенка, даже такого крошку, как маленький Том, мистрис Дженкинс согласилась бы носить самые простые чепчики, сама бы чистила медную посуду и трудилась бы денно и нощно. Величавая, невыразимая неудача в жизни отравляла ее спокойствие, остановила в ней развитие душевных сил, сделала ее болезненной и самолюбивою.

— Опять этот кот, чтоб его… Опять стащил, опять обгрыз всю баранину, так что и в руки взять нечего… и в новое время, когда к обеду Джема нет

больше ничего. Ну уж я же задам ему! Теперь он у меня в руках! Попался! Я ему задам.

Сказав это, Мэри Годгсон схватила праздничную трость мужа, и, несмотря на визг и царапание кота, надавала ему таких колотушек, которые, по ее мнению, должны были излечить его навсегда от воровских наклонностей. Но вдруг — она оглянулась назад, и увидела, что в дверях стояла мистрис Дженкинс, с лицом, выражавшим злобное бешенство.

— Как вам не стыдно, сударыня, нападать на бедное бессловесное животное, которое только и смыслит, чтоб стянуть лакомый кусочек, когда увидит его? Вы бы постыдились хоть себя! Животное это ведь только следует природе, которою одарил его Бог! Как вам не стыдно, мам! И я, право, удивляюсь, что при вашей жадности, при вашем скряжничестве, вы не запираете шкап немного плотнее. Если вы не знаете, так я вам скажу, что существуют законы и для неразумных животных. Подождите, я расскажу о вашем поступке мистеру Дженкинсу: он напомнит вам этот закон… Бедняжечка Томми! тебя прибили… тебя изувечили! бедный, бедный Томми! И неужели за то, что он съел несколько негодных объедков, которые следовало бы бросить нищему, неужели

за это следовало переломить ему ногу? — заключила мистрис Дженкинс, бросив презрительный взгляд на объедки баранины.

Мэри чувствовала себя весьма раздраженною и вместе весьма преступною. Она действительно пожалела бедного, охромевшего кота; когда он, с плачевным мяуканьем, приполз к ногам госпожи. Она раскаивалась, что прибила его так жестоко, и тем более что кот доведен был до искушения собственною ее беспечностью: никогда не запирала шкап, в котором хранилось съестное. Но презрительный взгляд мистрис Дженкинс на кусок баранины превратил ее раскаяние в припадок сильного гнева, и она захлопнула дверь под самым носом мистрис Дженкинс, стоявшей в сенях и ласкавшей кота, — захлопнула так сильно, что маленький Том проснулся и начал реветь. В этот день у Мэри все пошло не так, как следует. Ребенок проснулся — кто же понесет обед мужу в типографию? Она взяла ребенка на руки, стараясь убаюкать его, и, убаюкивая, плакала, сама не зная о чем, — вероятно, вследствие отлива гневных чувств и прилива более мягких и нежных. Она снова и снова раскаивалась в том, что прибила кота; ее терзала мысль, что, может быть, и в самом деле переломила ему ногу. Что

бы сказала ее мать, узнав, какою сердитою и жестокою сделалась ее маленькая Мэри? Неужели Мэри доживет до того, что в минуты гнева будет бить и своего малютку?

Мэри горько плакала, а при этом положении убаюкиванье было бесполезно; она должна была оставить его, должна была взять ребенка на руки и вместе с ним отправиться в типографию, потому что обеденный час прошел давным-давно. Очистив тщательно баранину, кусок которой чрез эту операцию доведен был до бесконечно малого количества, и вынув из горячей золы печеный картофель, она уложила и то и другое в корзинку вместе с другими принадлежностями, как то: тарелкой, маслом, солью, ножом и вилкой.

Восточный ветер действительно был резкий. Мэри бежала, стараясь укрыться от него. Снеговые хлопья были тверды и, как льдом, резали лицо. Ребенок плакал во всю дорогу, хотя она и закутала его в платок. Усталый и голодный муж с особенным аппетитом напустился на картофель; физические потребности в нем до такой степени были сильнее моральных, что он мрачно посмотрел на холодную баранину. Мэри воротилась домой без всякого аппетита. После

некоторых усилий накормить ребенка, настойчиво отклонявшего от себя молоко и булку, она, по обыкновению, положила его на постельку, окруженную игрушками, и сама занялась приготовлением фарша на рождественский пудинг. Рано вечером к ней принесли небольшой сверток, упакованный сначала в простую серую бумагу, потом в белую гладкую, как атлас, и, наконец, в душистую салфетку. К этому свертку приложена была записка от матери, извещавшей свою дочь, что она не забыла Рождества, и узнав, что фермер Буртон резал молодую свинью, она не замедлила воспользоваться этим случаем: приобрела окорок и сделала из него несколько сосисок с теми специями, которые так нравились Мэри, когда она жила еще у матери.

— Добрая, добрая матушка! — сказала Мэри про себя. — Найдется ли в мире существо, которое с такой любовью вспоминает близких своему сердцу. Какие дивные сосиски приготовила она. Вещи домашнего приготовления имеют особенный вкус, которого не купить ни за какие деньги. Да где! Таких сосисок, как матушкины, не найдешь в целом мире! Я уверена, что, если б мистрис Дженкинс попробовала сосиски моей матушки, она бы не бросилась на городские изделия, которые

Фанни только что притащила.

В этом роде она продолжала размышлять о родительском крове, пока воспоминания о милом коттедже не вызвали ей улыбки на уста и ямочки на щеках, — милом коттедже, который зеленел даже теперь, среди глубокой зимы, с его месячными розами, с его остролистником и огромным португальским лавровым деревом, которым так гордилась ее мать. А тропинка через огород к фермеру Буртону... о! как свежо сохранялась она в ее памяти! Мерами собирала она у него незрелые яблоки и кормила свиней, пока Буртон не начинал бранить ее за то, что дает им так много дрянной зелени.

Размышления Мэри и ее воспоминания внезапно были прерваны. Ее крошка (я называю его крошкой, потому что так называли его отец и мать и потому еще, что он действительно был крошка, хотя ему и минуло восемнадцать месяцев) заснул, между игрушками, тревожным, беспокойным сном; но Мэри и за это была благодарна, потому что утром он спал весьма мало и потому еще, что ей предстояло много дела. Но в это время в гортани ребенка поднялось такое странное хрипенье, как будто по каменному полу в кухне тащили тяжелый и скрипучий стул.

Открытые глазки ничего не выражали, кроме страдания.

— Милашка мой, Томми! — сказала Мэри, с ужасом взглянув на него, и потом, взяв на руки. — Малютка мой! что ты так хрипишь, крошечка мой!.. Бай, бай, баю, бай!.. Перестань же, ангел мой! Что с тобой сделалось?

Но хрипенье становилось все сильнее и сильнее.

— Фанни! Фанни! — вскричала Мэри в смертном испуге, потому что ребенок почти почернел от стеснения в горле.

Мэри не к кому было обратиться за помощью и состраданием, кроме дочери домохозяйки, маленькой девочки лет тринадцати, прислуживавшей в доме во время отсутствия матери. Фанни считалась служанкой преимущественно верхних жильцов, которые платили особо за хозяйскую кухню, потому что Дженкинс терпеть не мог запаха стряпни! Но, к счастью, теперь Фанни сидела за своим рукодельем, штопала чулки и, услышав крик мистрис Годгсон, выражавший сильный испуг, опрометью бросилась к ней и с разу поняла, в чем дело.

— У него круп! Ах, мистрис Годгсон! он умрет, непременно умрет! С моим маленьким братом

было то же самое, и он умер в несколько часов. Доктор сказал, что уж поздно… ничего нельзя сделать. Нужно было бы, говорил он, с самого начала сделать теплую ванну: это бы еще могло спасти его; но… ах! Боже мой! он хуже на вид, гораздо хуже моего брата!

Фанни в словах своих бессознательно выражала чувство детской любви, которое увеличивало еще более ее опасения за жизнь ребенка; впрочем, близость опасности была очевидна.

— О, мой милочка, мой крошечка! Ангельчик мой! зачем ты так захворал, бедняжка мой! Нет… я не могу смотреть на тебя… И огонь-то у меня погас!.. Все думала о матери, чистила коринку, а про огонь-то и забыла. Ах, Фанни! скажи, ведь у вас на кухне верно есть огонь?

— Мама велела затворить заслонку, и когда мистрис Дженкинс кончит стряпать, то бросить туда перегорелый уголь. Я так и сделала; теперь он, я думаю, совсем погас… Но… ах, мистрис Годгсон! позвольте, я сбегаю за доктором… я не могу слышать его крика; точь-в-точь мой маленький брат.

С глазами, полными слез, Мэри попросила Фанни сбегать, и, стараясь удержать слезы, поддержать бодрость духа, подавить в душе тяжелое

горе, положила ребенка в колыбель и побежала налить водой большой медный чайник.

Мистрис Дженкинс состряпала скромный обед, отобедала с мужем, который для этого пришел домой; рассказала ему о побоях, перенесенных милым котеночком, причем мистер Дженкинс с справедливым и величавым негодованием заметил, что все эти ссоры возникают от отвратительной газеты «Examiner»; спрятала сосиски, индюшку и пудинг, которые заказал ей муж; прибрала комнату, приготовила все к чаю, поласкала кота и потужила о этом бедняжке (который, мимоходом сказать, совсем забыл о побоях и с наслаждением принимал нежные ласки). Сделав все это, мистрис Дженкинс присела, чтоб примерять настоящий кружевной чепец. Каждая складочка была разглажена, каждый бантик расправлен: как вдруг! что это такое? За окнами, на улице, хор тоненьких детских голосов запел старинный рождественский гимн, который мистрис Дженкинс слышала тысячи раз в дни своей юности…

Она встала и подошла к окну. Там внизу у тротуара стояла группа серовато-темных маленьких фигур, рельефно отделяющихся от снега, которым покрылась вся улица. Отсчитав несколько

медных монет, она бросила их в окно маленьким певцам.

Пока она слушала гимн и отсчитывала медные деньги, в открытое окно забрался зимний холод; она помешала пылавший огонь в камине и села прямо перед ним, — но не с тем, чтоб расправлять кружева: подобно Мэри Годгсон, она задумалась о давно минувших днях, — углубилась в воспоминания детства, — припоминала давно забытые слова и святочные сказки, которые когда-то слушала на коленях матери.

— Не понимаю, что со мной делается? — сказала она, оторванная от нити воспоминаний звуками своего собственного голоса. — Старина так и лезет в голову. В каких-нибудь полчаса я столько передумала о матушке, сколько не передумать бы, кажется, в течение нескольких лет. Не перед смертью ли уж это? Старые люди говорят, что, если станешь думать о родных, которые давно уже переселились в вечность, это значит, скоро сам переселишься к ним. А теперь мне не хотелось бы отправиться туда: завтра за обедом такая славная индюшка!

В эту минуту раздался громкий и учащенный стук в двери. И потом, как будто стучавший не мог ни минуты подождать, дверь отворилась и в ней

показалась Мэри Годгсон, бледная, как смерть.

— Мистрис Дженкинс!.. ах, у вас кипит чайник, — ну слава богу! — Ради бога, одолжите мне кипятку для малютки — у него круп… он умирает!

Мистрис Дженкинс повернулась на стуле с холодным, равнодушным выражением в лице, с выражением, которое (между нами будь сказано) знакомо было ее мужу и которого он, при всем своем величавом достоинстве, трусил.

— Мне очень жаль, что я не могу сделать вам этого одолжения; вода в чайнике кипит для чаю моего мужа. Не бойся, Томми, мистрис Годгсон не сунется туда, где ее не спрашивают. Я бы советовала вам лучше отправиться к доктору, чем тратить время на пустые слезы и ломать себе руки, — чайник мой назначен не для вас.

Мэри всплеснула руками с напряженным усилием, не сказала и слова в ответ этому холодному, деревянному лицу, этому резкому, решительному голосу, — но, уходя, она молила Небо послать ей силы перенести предстоявшее испытание, послать ей силы простить мистрис Дженкинс.

Мистрис Дженкинс кротко посмотрела вслед уходившей и потом накинулась на себя так быстро и сердито, как накидывалась иногда на

других.

— О, какой же я зверь! Господи, прости меня! Что значит чай моего мужа в сравнении с жизнью малютки? В крупе — все зависит от времени. Какое бездушное создание… по всему видно, что ты не имела ребенка.

И прежде, чем кончились эти упреки, она была уже внизу, с чайником в руке. Мэри не находила слов, да к тому же и не могла говорить от слез, чтобы выразить свою благодарность. Мистрис Дженкинс отклонила от себя излияние этого чувства, сухо сказав своей соседке:

— Я делаю это не для вас, мадам, но для больного ребенка, в той надежде, что он вырастет и будет снисходителен к бедным бессловесным животным, особливо если сам станет забывать запирать шкап со съестными припасами.

Мистрис Дженкинс сделала все, и даже более, чем могла бы придумать Мэри при своей неопытности. Она приготовила теплую ванну, употребив при этом термометр своего супруга (мистер Дженкинс наблюдал температуру воздуха каждый день, и занимался этим пунктуально, как часы). Она велела матери опустить ребенка в воду, сохраняя прежний холодный, неподвижный, оскорбительный вид, и потом удалилась

наверх, не сказав ни полслова. Мэри хотела было попросить ее остаться, но не осмелилась: слезы катились по ее щекам сильнее прежнего. Бедная молодая мать! с каким нетерпением считала она минуты, ожидая доктора. Но, еще до его прихода, мистрис Дженкинс, снова спустилась вниз, и принесла с собой что-то в руке.

— Я часто видела припадки этой болезни, чего, полагаю, мам, вам не удавалось. При этих случаях горчичник на грудь помогает отлично; я приготовила его и, с вашего позволения, мам, положу бедному малютке.

Мэри не могла говорить: она только сделала знак, выражавший согласие и благодарность.

Через несколько секунд ничем не прерываемого молчания, горчичник начал действовать. Ребенок посмотрел на мать, как будто стараясь извлечь из ее взоров твердость духа, чтоб перенести жгучую боль; но, глядя на его страдание, Мэри тихо рыдала; недостаток твердости духа в ней самой сообщился ему, и он начал реветь. В эту минуту мистрис Дженкинс приподняла свой передник и закрыла им лицо.

— Успокойся, милочка! потерпи немного! — сказала она по возможности веселым тоном.

Маленькое личико малютки просветлело. Твер-

дость духа возвратилась к Мэри, и обе женщины обоюдными силами утешали его, пока горчичник не подействовал окончательно.

— Ему лучше, мистрис Дженкинс, посмотрите ему в глазки! Какая разница! Он и дышит теперь легче…

При этих словах вошел доктор. Он осмотрел пациента. Ребенку действительно было лучше.

— Припадок был сильный. Средства, которые вы употребили, превосходны. Часом позже не помогла бы ему вся фармакопея. Я пришлю порошок, и пр. и пр.

Мистрис Дженкинс осталась выслушать это мнение. С сердцем, совершенно спокойным, она уже хотела выйти из комнаты, когда Мэри схватила ее руку и поцеловала: она не могла иначе высказать своей благодарности.

Мистрис Дженкинс казалась сконфуженною и оскорбленною; казалось, будто она, прибежав наверх, сейчас же вымоет руку.

Но наперекор этим кислым взглядам, через час времени, она тихо сошла вниз посмотреть, в каком положении находился ребенок.

Маленький джентльмен сладко спал после испуга и боли, которыми наделили его друзья, — и в утро Рождества, когда Мэри проснулась и посмот-

рела на хорошенькое, бледное личико, лежавшее у нее на руке, она с трудом могла представить себе опасность, в которой находился малютка.

Позже обыкновенного она встала с постели и услышала, что в верхнем этаже происходит страшная суматоха. Как вы думаете, что там случилось? Кот изменил своему лучшему другу: он съел лучшую сосиску своих покровителей; изгрыз и перепачкал все прочие до такой степени, что невозможно было употребить их в дело! Прожорливости кота не было границ! в припадке аппетита он съел бы, кажется, родного отца! Теперь мистрис Дженкинс в свою очередь бушевала и кричала:

— Я тебе задам, негодяй! Я повешу тебя! И когда же вздумал сделать это — в первый день праздника, — когда все лавки заперты! Ну что такое индюшка без сосисок? — гневно заключила мистрис Дженкинс.

— Ах, Джем! — шептала Мэри. — Послушай, какой у них шум из-за сосисок — я бы послала мистрис Дженкинс несколько штучек, приготовленных матушкою, — право, они будут вдвое лучше купленных.

— Я не имею ничего против твоей мысли, душа моя. Сосиски не могут сблизить наших отноше-

ний, пока Дженкинс не переменить образа своих мыслей, которого я ни под каким видом не могу уважать.

— Но, Джем! Если б ты видел вчера вечером, как она ухаживала за нашим малюткой. Мне кажется, теперь брани она меня сколько душе угодно, я не скажу ей ни слова. Я даже готова угостить ее кота своими сосисками.

Слезы выступили на глаза бедной Мэри, когда она, стараясь скрыть свое волнение, целовала ребенка.

— Так снеси же их скорее наверх, душа моя, и подари госпоже этой прожорливой кошки.

Сказав это, Джем расчувствовался.

Мэри, положив сосиски на тарелку, не трогалась с места.

— Что же я скажу ей, Джем? Право, не знаю.

— Скажи: надеюсь, вы примите эти сосиски, потому что моя матушка… нет, это не годится. Скажи ей, просто что придет в голову.

С этим советом Мэри снесла их наверх, постучалась в дверь, и когда ей сказали: войдите, она раскраснелась, подошла к мистрис Дженкинс и сказала:

— Пожалуйста, возьмите это от меня в гостинец. Их приготовляла матушка.

И, не дождавшись ответа, удалилась.

В то самое время, когда Годгсон собирался идти в церковь, мистрис Дженкинс спустилась с лестницы и кликнула Фанни. Через минуту Фанни вошла в квартиру Годгсонов и, засвидетельствовав почтение от мистера и мистрис Дженкинс, объявила от их имени, что им будет приятно, если мистер и мистрис Годгсон пожалуют откушать к ним.

— И принесут с собой малютку в платке, — прибавил голос мистрис Дженкинс в коридоре, подле самых дверей, до которых проводила она посланную.

Недоумения тут не могло быть, потому что каждое слово было сказано внятно и определительно.

Мэри посмотрела на мужа с изумлением. Она вспомнила, что за несколько минут перед этим он говорил, что ему не нравится образ мыслей мистера Дженкинса.

— А как ты думаешь, не повредит ли это нашему малютке? — спросил он.

— О нет, — отвечала она торопливо. — Я бы укутала его как можно теплее.

— А я уж натопила нашу комнату так, что ему не будет холодно, — прибавил голос за дверью.

Как же, вы думаете, они устроили это дело? Самым лучшим образом. Мистер и мистрис Дженкинс спустились в квартиру Годгсона и там отобедали. На одном конце стола — индюшка, на другом — ростбиф, с одной стороны — сосиски, о другой — картофель. Десерт заменяли плюмпудинг и сладкие пирожки.

После обеда мистрис Дженкинс взяла ребенка к себе на колени. По всему было видно, что он полюбил ее. Мистрис Дженкинс говорила, что он любуется кружевами ее чепчика; но Мэри думала совсем иначе (хотя и не высказывала своего мнения): она думала, что ребенку нравились ее добрый взгляд и ласки. После того ребенка укутали и снесли наверх, к чаю, в квартире мистрис Дженкинс. После чаю мистрис Дженкинс, Мэри и ее супруг почувствовали особенное расположение к музыке, начали петь и пели до поздней поры, не сказав ни слова ни о политике, ни о газетах.

Перед удодом Мэри приласкала на коленях у себя проказника кота; мистрис Дженкинс ни под каким видом не хотела расстаться с ребенком, лежавшим у нее в коленах.

— Пожалуйста когда у вас будет занятие, приносите его сюда. Пожалуйста приносите: я сочту это

за особенную милость. Я знаю, при другом ребенке, у вас будет много дела; этого уж вы передайте мне. Я буду беречь его, как глаз. Душечка! Как сладко он спит, и как прекрасен он во время сна!

Когда супружеские четы снова очутились наедине, супруги открыли перед женами свои сердца.

Мистер Дженкинс говорил своей жене:

— Знаешь ли, душа моя, Бурджесс старался уверить меня, будто Годгсон такой глупец, что от времени до времени наполняет газету «Examiner» своими статьями, но, сколько я вижу, он знает свое место и имеет слишком много здравого смысла, чтоб не делать подобных вещей.

Годгсон говорил:

— Мэри, мой друг, я заметил из слов Дженкинса, как нельзя более учтивых, что он догадывается, кем именно написаны статья «Pro Bono» и стихотворение «Розовый бутон»; во всяком случае, пожалуйста, не проговорись об этом в минуты откровенности; мне бы не хотелось, чтоб он считал меня за литератора.

Перевод с английского неизвестного автора

Ганс Христиан Андерсен
Ель

В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом же росли подруги постарше — и ели, и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали по лесу землянику и малину; набрав полные корзиночки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили:

— Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревце и слушать не хотело.

Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год, прибавилось еще одно — так, по числу коленцев, и можно узнать, сколько дереву лет.

— Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! — вздыхала елочка. — Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко под-

няла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку — вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его кругом.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом — что может быть лучше этого!» — думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты,

деревце спросило у них:

— Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

— Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

— Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать! — ответил аист и улетел.

— Радуйся своей юности! — говорили елочке солнечные лучи. — Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Незадолго до Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

— Куда? — спросила ель. — Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили

все ветви? Куда их повезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали воробьи. — Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами: золочеными яблоками, медовыми пряниками и тысячами свечей!

— А потом?.. — спросила ель, дрожа всеми ветвями. — А потом?.. Что было с ними потом?

— А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

— Может быть, и я пойду такою же блестящею дорогой! — радовалась ель. — Это получше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такою же высокою и раскидистою, как те, что были срублены в прошлом году! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла, разубранная всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

— Радуйся нам! — сказали ей воздух и солнечный свет. — Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревце!» Подошло, наконец, и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже и подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла: она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг — елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

— Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров — так, по крайней мере, говорили

дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли полные сластей маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, золоченые яблоки и орехи и закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще и не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, а к самой верхушке елки — большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

— Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! — сказали все.

«Ах! — подумала елка. — Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я врасту в эту кадку и буду стоять тут такою нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажгли свечи. Что за блеск, что за рос-

кошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка пребольно обожглась.

— Ай-ай! — закричали барышни и поспешно затушили огонь. Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее… Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а там поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были посорваны.

«Что же это они делают! — думала елка. — Что это значит?» Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви трещали! Не будь елка крепко привязана верхушкою с золотой звездой к потолку, они бы повалили ее.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в

ветвях яблочка или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького господина.

Он уселся под деревом и сказал:

— Вот мы и в лесу! Да и елка, кстати, послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький господин рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще, еще!» Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка: лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» — думала елка: она вполне верила всему, что сейчас слышала, — рассказывал

ведь такой почтенный господин. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться лестницы, а потом и мне достанется принцесса!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! — думала она. — Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иве-де-Аведе». И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Поутру явились слуга и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» — подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? — думалось елке. — Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала… Времени на это было довольно: проходили дни и ночи — никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! — думала елка. — Земля затвердела и покрыта снегом: нельзя, значит,

снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу скачут зайчики! Хорошо было… Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

— Пи-пи! — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще несколько. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

— Ужасно холодно здесь! — сказали мышата. — А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала ель. — Есть много деревьев постарше меня!

— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили мышата; они были ужасно любопытны. — Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать по сальным свечкам? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

— Нет, такого места я не знаю! — сказало дерево. — Но я знаю лес, где светит солнышко и поют

птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

— Как же ты много видела. Как ты была счастлива!

— Счастлива? — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. — Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

— О! — сказали мышата. — Как же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем еще не стара! — возразила ель. — Я взята из леса только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

— Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и мне тоже достанется

принцесса!

При этом дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, — она казалась ему настоящей принцессой.

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия чуть не прыгали до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только! — отвечала ель. — Я слышала ее в счастливейший вечер в моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

— В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки? Про кладовую?

— Нет! — ответило дерево.

— Так счастливо оставаться! — сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

— А ведь славно было, когда эти резвые мышата

сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец… Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» — подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца — ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

— Квир-вир-вит! Мой муж вернулся! Но это не относилось к ели.

— Теперь и я заживу! — радовалась ель и расправила свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, на крапиве и сор-

ной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

На дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел дерево и сорвал с него звезду.

— Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! — сказал он и наступил ногами на ее ветви — ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак.

Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе…

— Все прошло, прошло! — сказало бедное дерево. — И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь… все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски — вышла целая связка растопок. Как славно запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи

в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли на дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!

Перевод с датского П. и А. Ганзен

Джером Клапка Джером
Встреча автора с ангелом

Однажды, после рождественских праздников, я видел странный сон. Мне приснилось, будто я вылетел из своей спальни прямо в окно в одной ночной сорочке. Я поднимался все выше и выше к небу, это радовало меня.

«Ага, обратили-таки на меня внимание! — с гордостью размышлял я. — Уж очень я был добр… должно быть, даже уж чересчур. Ведь будь я не таким добрым, пожалуй, пробыл бы на земле подольше… Впрочем, — заключил я, — всего сразу требовать нельзя».

Между тем земля становилась все меньше и меньше. Последнее, что я видел, был длинный ряд электрических фонарей, окаймляющих набережную Темзы. Вскоре и от этой светящейся линии не осталось ничего, кроме слабого мерцания, постепенно поглощаемого полным мраком. Когда подо мною исчез последний намек на земной свет, я услышал за собой тихое шуршание крыльев. Оглянувшись, я увидел ангела-регистратора. Он держал под мышкой объемистую,

тяжелую книгу.

Я высказал ему свое предположение, что он, должно быть, очень утомлен.

— Да, — ответил ангел, — ваши рождественские дни всегда доставляют нам много лишнего труда.

— Понятно, удивляюсь только, как вы успеваете справляться в это время. К Рождеству мы, люди, сразу превращаемся в удивительных добряков и принимаемся благодетельствовать вовсю. Это такое приятное состояние, — заметил я.

— Охотно верю вам, — вежливо согласился ангел.

— Мне самому всегда дает толчок первый рождественский номер одного семейного журнала, в котором так трогательно изображены добродушные краснолицые эсквайры, оделяющие бедных сельчан плюмпудингом, и хорошенькие, закутанные в дорогие меха девочки, кормящие сахаром дрожащих от холода и голода уличных лошадок. Эти картинки умиляют меня и до такой степени умягчают мое сердце, что я готов взять в первом попавшемся благотворительном обществе кружку для сбора и ходить по городу собирать деньги на бедных.

Но вы, господин ангел, — продолжал я, — не

думайте, что я один на свете делаюсь добрым на Рождество. О нет! Я отнюдь не желаю внушать вам такое превратное мнение о себе в ущерб другим. На Рождество то и хорошо, что оно делает добрыми всех людей. Сколько хороших чувств питаем мы в это время! Сколько делаем добра! Начинается это у нас незадолго до Рождества и продолжается чуть ли не до конца января. Вероятно, для вас одно наслаждение отмечать все это в вашей книге?..

— О да, великодушные дела доставляют всем нам большую радость! — подтвердил ангел.

— Так же и нам, — сказал я. — Я люблю думать о тех добрых делах, которые сделал сам. Я все собирался вести дневник, в который мог бы каждый вечер записывать свои добрые дела, совершенные за истекший день. Это было бы так поучительно для потомства.

Ангел нашел, что это была блестящая идея.

— Полагаю, что в вашей книге записано все, что я сделал хорошего на земле в продолжение последних шести недель, не так ли? — спросил я, глядя на толстую книгу моего небесного спутника.

— Да, сюда все занесено, — подтвердил мою догадку ангел.

Я разговорился с ангелом не из-за чего-нибудь особенного, а просто ради болтовни. Я нисколько не сомневался в его точности и добросовестности; но ведь всегда приятно лишний разок поболтать о себе.

— А что, записаны у вас пять шиллингов, пожертвованных мною в «шестипенсовый фонд для безработных», учрежденный при редакции «Ежедневного Телеграфа»? — осведомился я.

— Как же, конечно, записаны, — ответил ангел.

— Впрочем, — поспешил я добавить, — как теперь припоминаю, собственно, я пожертвовал десять шиллингов. Мне пришлось подписаться во второй раз, потому что когда был опубликован список имен жертвователей, я увидел, что мое имя искажено.

Ангел успокоил меня уверением, что в его книгу занесены обе мои подписки.

— Потом в течение миновавших рождественских праздников мне пришлось присутствовать на четырех благотворительных обедах, — напомнил я ему. — К сожалению, я забыл, о какой именно благотворительности шло дело. Помню только, что каждый раз на другой день после такого обеда у меня жестоко болела голова…

не выношу подаваемого на этих обедах шампанского. А так как приходится платить за это шампанское — ради благотворительности, то нельзя не спрашивать его, иначе подумают, что не имеешь достаточных средств или жадничаешь…

Ангел прервал меня заверением, что мои жертвы на этих обедах также занесены им в книгу.

— На прошлой неделе я послал на благотворительный базар дюжину своих фотографических карточек с автографом, — продолжал я.

Ангел заявил, что записал и этот факт.

— Потом, — продолжал я, — мне пришлось участвовать на двух костюмированных балах. Я был в костюме сэра Уолтера Рэли. Лично я не охоч до таких балов, и бывать на них для меня в некотором роде подвиг, а потому я могу надеяться…

Ангел поспешил уверить меня, что у него отмечены и эти мои подвиги.

— Так вы, может быть, знаете и о том, что я на днях участвовал в представлении «Наших мальчиков», данном в пользу фонда для бедных викариев? Об этом было напечатано в «Утренней почте», но критик…

Ангел снова прервал меня, сказав, что если критик этой газеты отнесся ко мне несправедливо,

то он за это понесет наказание и что, во всяком случае, мнение газетных или каких бы там ни было критиков не может повлиять на мнение его, ангела.

— Это хорошо, — заметил я. — В сущности, я и сам понимаю, что от этих «благотворительных» спектаклей очень немного перепадает для нуждающихся. Но как бы то ни было, а я-то играл, кажется, недурно.

Ангел сказал, что он лично был на том спектакле и написал о нем одобрительный отзыв.

Я напомнил ему еще о тех четырех балконных местах, которые взял на грандиозное зрелище, устроенное королем в пользу фонда для неимущих британцев в Йоханнесбурге. Никто из знаменитых артистов и артисток, имена которых были обозначены в афишах, не принял в нем участия, но прислал письма с сердечными пожеланиями. Зато те, имена которых никому не известны, явились. Во всяком случае, зрелище стоило потраченных мною на него денег, и я не жалуюсь.

Я сделал и еще несколько добрых дел, но никак не мог припомнить, каких именно. Помнил только, что в число пожертвованных мною старых вещей попало и пальто, которое я с успехом мог

бы еще поносить и сам. Кроме того, я вспомнил, что брал билет на лотерею с благотворительной целью. Разыгрывался автомобиль, который достался одной богатой леди.

Ангел просил меня не беспокоиться: не только все это, но и то, о чем я никак не мог вспомнить, значится у него в книге.

Мною овладело любопытство. По всей видимости, ангел относился ко мне благосклонно, и я решился спросить его, не позволит ли он мне заглянуть в его книгу. Он ответил, что ничего не имеет против этого, и открыл книгу на страницах, посвященных мне. Взлетев немножко повыше, я заглянул в книгу через его плечо.

При первом же взгляде мне показалось, что ангел многое перепутал. Например, вместо того чтобы занести мои добрые дела на страницу моих заслуг, он отметил их на странице моих прегрешений, рядом с моими действиями лицемерия, тщеславия и самохвальства. В рубрику милосердия он занес за последние шесть недель только одно мое доброе дело, когда я в вагоне трамвая уступил место одной измученной старушке, которая даже не поблагодарила меня за это, потому что от усталости еле дышала. Все же остальные мои жертвы и траты в пользу других пропали да-

ром, по милости странной небрежности ангела.

Сначала я не хотел было обижаться на него, готовый видеть с его стороны простую ошибку при записывании, поэтому кротко сказал ему:

— Вы совершенно верно отметили статьи по количеству и форме, но при этом допустили небольшую ошибку… Это случается со всеми, и я за это не в претензии на вас, тем более что вы, наверное, исправите ее. Дело в том, что вы кое-что занесли не на ту страницу, на которую следует.

Но ангел взглянул на меня с таким серьезным и бесстрастным лицом и так самоуверенно возразил: «У меня нет никакой ошибки», — что меня взорвало.

— Как нет никакой ошибки?! — воскликнул я. — А вот здесь…

Ангел с тяжелым вздохом захлопнул книгу прямо перед моим носом. Это еще пуще взбесило меня. Я хотел было вырвать у него книгу, чтобы указать на его ошибку, но вдруг почувствовал, что начал опускаться. Подо мной постепенно замерцали, потом вдруг стали подниматься мне навстречу лондонские огни. Видя, что меня несет на верхушку Вестминстерской башни с часами, я сделал движение, чтобы избежать этого и… угодил прямо в реку. И тут я проснулся.

Я не могу отделаться от впечатления, которое произвел на меня печальный взгляд ангела. Припоминая этот взгляд, я часто спрашиваю себя: не лучше ли бы я сделал, если бы лично раздал беднякам, не требуя ничего взамен, те деньги, которые во имя их потратил на разные глупости? Можем ли мы удовлетворить того Великого Идеалиста, который учил раздать все имущество бедным, теми подачками от нашего излишка, которые мы небрежно бросаем в сборные кружки, думая этим отделаться от всяких забот о бедных?

Не есть ли наша так называемая «благотворительность» просто плохая уступка совести, своего рода страховка, дешевая премия, взятая на тот случай, если окажется, что в действительности существует «другой» мир? Такое ли милосердие ведет к Богу? Так ли легко добывается вечное блаженство там?

Помню один великосветский благотворительный бал. Билеты на этот бал продавались по двенадцати шиллингов и шести пенсов, и каждая дама, продавшая более десяти этих билетов, удостаивалась собственноручного благодарственного письма от герцогини, бывшей председательницею того благотворительного учреждения, в пользу которого давался бал. Был,

конечно, и буфет с прохладительными напитками, фруктами и разными сластями, а после бала следовал довольно существенный ужин, так что за всеми расходами едва ли очистились для бедняков те шесть пенсов, которые приплачивались к основной цене билетов, то есть к двенадцати шиллингам. И дамы, обрадовавшиеся случаю показать свои новые костюмы, с видом жертв толковали между собой и со своими кавалерами о том, что они вовсе не были расположены танцевать на этой неделе, но для такой великой и прекрасной цели, как помощь неимущим, они, разумеется, всегда готовы жертвовать всем, чем только могут.

Вообще у нас такой избыток «благотворительности», что следует только удивляться, как это все еще имеются бедные. Но и хорошо, что они имеются. Иначе что бы мы стали делать без них? Ведь не будь бедных, мы никогда не узнали бы, сколько доброты и милосердия таится в нашем обществе. Кому бы стали мы уделять от щедрот своих, если бы не оставалось более бедных? Ведь тогда, пожалуй, нам пришлось бы одаривать друг друга; а это было бы уж чересчур убыточно для нас, потому что «друзья» требовательны и могут быть довольны только каким-нибудь осо-

бенно ценным подарком, между тем как вовремя розданная между бедными какая-нибудь пара шиллингов может принести им существенную пользу, а вам доставить славу доброго самаритянина. Хорошо, что Провидение в своей мудрой предусмотрительности снабдило нас достаточным количеством бедняков, на которых мы можем попрактиковаться в своих добрых чувствах.

Прекрасная леди Баунтифэл, разве вам никогда не приходило на ум поблагодарить Бога за создание бедных — тех самых чистеньких, признательных бедных, которые так низко склоняют перед вами свои головы и спины и так трогательно лепечут вам о том, что Небо тысячекратно вознаградит вас за вашу доброту?

Один викарий рассказывал мне, с известным подмигиваньем глазами, как однажды эта важная леди пригласила его к себе в свой роскошный экипаж и попросила указывать ей, где живут бедные, которых она желала осчастливить своим личным посещением. Под руководством викария она объездила несколько темных и узких улиц и во многих трущобах раздавала милостыню. Наконец они подъехали к переулку, в котором ютится больше всего бедноты. Заглянув в этот переулок,

кучер обернулся к своей госпоже и сказал:

— Миледи, здесь экипаж не пройдет: слишком узко.

Леди вздохнула и прощебетала:

— Ах, как жаль!.. Поверните назад, Джек.

И чистокровные рысаки повернули назад.

Там, где ютится настоящая беднота, нет места великолепному экипажу леди Баунтифэл. Такие закоулки доступны только одному действительному Милосердию, которое повсюду проскользнет незаметно; оно не чета надутому Тщеславию…

Выслушав викария, я спросил его:

— Чем же, по-вашему, заменить эту показную благотворительность, которая совершенно не достигает цели?

— Справедливостью, — ответил викарий. — Если бы воцарилась справедливость, не было бы и нужды в благотворительности.

— Однако некоторым искренним добрым людям благотворение доставляет огромное удовольствие, — заметил я.

— Да, и я согласен с тем, что таким людям несравненно приятнее давать, нежели брать, — проговорил викарий и тут же со вздохом прибавил: — Но до осуществления моего идеала

справедливости — увы! — еще очень далеко. Если мы и приближаемся к нему, то очень медленными шагами.

Перевод с английского Л. Мурахиной-Аксёновой

Ги де Мопассан
Рождественская сказка

Доктор Бонанфан стал рыться в своей памяти, повторяя вполголоса:

— Рождественский рассказ?.. Рождественский рассказ?..

И вдруг воскликнул:

— Ну, да! У меня есть одно воспоминание, и даже очень необыкновенное. Это фантастическая история. Я видел чудо. Да, сударыни, чудо в Рождественскую ночь.

Вас удивляет, что вы слышите это от меня, человека, ни во что не верующего? И тем не менее я видел чудо! Говорю вам, я его видел, видел собственными глазами, именно видел.

Удивило ли оно меня? Отнюдь нет: если я не верю в ваши догматы, то верю в существование веры и знаю, что она движет горами. Я мог бы привести много примеров. Но я боюсь возбудить в вас негодование и ослабить эффект моего рассказа.

Прежде всего признаюсь, что если я и не был переубежден всем виденным, то, во всяком

случае, был очень взволнован, и я постараюсь бесхитростно передать вам все это с наивной доверчивостью овернца.

Я был тогда деревенским врачом и жил в местечке Рольвиль, в глуши Нормандии.

Зима в том году была лютая. С конца ноября после недели морозов выпал снег. Уже издалека виднелись тяжелые тучи, надвигавшиеся с севера, затем начали падать густые белые хлопья.

За одну ночь вся долина покрылась белым саваном.

Одинокие фермы, стоявшие среди квадратных дворов, за завесой больших деревьев, опушенных инеем, казалось, уснули под этим плотным и легким покрывалом.

Ни один звук не нарушал тишины деревни. Только вороньи стаи чертили длинные узоры по небу в напрасных поисках корма и, опускаясь тучей на мертвые поля, клевали снег своими большими клювами.

Ничего не было слышно, кроме мягкого и непрерывного шороха мерзлой пыли, продолжавшей сыпаться без конца.

Так длилось всю неделю, потом снегопад прекратился. Землю окутывал покров в пять футов толщиною.

В последующие три недели небо, днем ясное, как голубой хрусталь, а ночью все усыпанное звездами, словно инеем на холодной суровой глади, простиралось над ровной пеленой твердого и блестящего снега.

Долина, изгороди, вязы за оградой — все, казалось, было мертво, убито стужей. Ни люди, ни животные не показывались на улицу; одни только трубы, торчащие из хижин в белых сугробах, свидетельствовали о скрытой жизни тоненькими, прямыми струйками дыма, поднимавшегося в ледяном воздухе.

Время от времени слышался треск деревьев, как будто их деревянные руки ломались под корою: толстая ветка отделялась иногда и падала, потому что холод замораживал древесные соки и разрывал заледеневшие волокна.

Жилища, разбросанные там и сям среди полей, казались отделенными друг от друга на сто лье. Жили как придется. Один только я пытался навещать моих ближайших больных, беспрестанно рискуя быть погребенным в какой-нибудь яме.

Вскоре я заметил, что вся округа охвачена таинственным страхом. Толковали, что такое бедствие не может быть явлением естественным. Уверяли, что по ночам слышатся голоса, резкий

свист, чьи-то крики.

Эти крики и свист, несомненно, издавали стаи птиц, перелетавшие в сумерки на юг. Но попробуйте переубедить обезумевших людей. Ужас охватил души, и все ждали какого-то необыкновенного события.

Кузница дядюшки Ватинеля стояла в конце деревушки Эпиван, на большой дороге, в те дни заметенной снегом и пустынной. И вот когда у рабочих вышел весь хлеб, кузнец решил сходить в деревню. Несколько часов он провел в разговорах, навестив с полдюжины домов, составлявших местный центр, достал хлеба, наслушался новостей и заразился страхом, царившим в деревне.

Еще до наступления темноты он отправился домой.

Проходя вдоль какого-то забора, он вдруг заметил на снегу яйцо, да, несомненно, яйцо, белое, как все кругом. Он наклонился: действительно, яйцо. Откуда оно? Какая курица могла выйти из курятника и снестись в этом месте? Удивленный кузнец ничего не понимал. Однако он взял яйцо и принес его жене.

— Эй, хозяйка, я принес тебе яйцо. Нашел его на дороге.

Жена покачала головой:

— Яйцо на дороге? В этакую погоду! Да ты, видно, пьян.

— Да нет же, хозяйка, оно лежало у забора и было еще теплое, не замерзло. Вот оно, я положил его за пазуху, чтоб оно не стыло. Съешь его за обедом.

Яйцо опустили в котел, где варился суп, а кузнец принялся пересказывать то, о чем толковали в деревне.

Жена слушала, побледнев.

— Ей-богу, прошлою ночью я слышала свист; мне даже казалось, что он шел из трубы.

Сели за стол. Сначала поели супу, потом, в то время как муж намазывал на хлеб масло, жена взяла яйцо и подозрительно осмотрела его.

— А если в этом яйце что-нибудь есть?

— Что же, по-твоему, может там быть?

— Почем я знаю!

— Будет тебе… Ешь и не дури.

Она разбила яйцо. Оно было самое обыкновенное и очень свежее.

Она стала нерешительно есть его, то откусывая кусочек, то отставляя, то опять принимаясь за него. Муж спросил:

— Ну, что, каково оно на вкус?

Она не ответила и, проглотив остатки яйца,

вдруг уставилась на мужа пристальным, угрюмым и безумным взглядом: закинув руки, она сжала их в кулаки и упала наземь, извиваясь в конвульсиях и испуская страшные крики.

Всю ночь она билась в страшном припадке, сотрясаемая смертельной дрожью, обезображенная отвратительными судорогами. Кузнец, не в силах справиться с ней, принужден был ее связать.

Ни на минуту не умолкая, она вопила диким голосом:

— Он у меня в животе!.. Он у меня в животе!..

Меня позвали на следующий день. Я перепробовал без всякого результата все успокаивающие средства. Женщина потеряла рассудок.

С невероятной быстротой, несмотря на непроходимые сугробы, по всем фермам разнеслась новость, удивительная новость:

— В жену кузнеца вселился бес!

Отовсюду приходили любопытные, не решаясь, однако, войти в дом. Они слушали издали ее ужасные крики: трудно было поверить, что этот громкий вой принадлежит человеческому существу.

Дали знать деревенскому священнику. Это был старый, простодушный аббат. Он прибежал в стихаре, как для напутствия умирающему, и, про-

тянув руки, произнес заклинательную формулу, пока четверо мужчин держали корчившуюся на кровати и брызгавшую пеной женщину.

Но беса так и не изгнали.

Наступило Рождество, а погода стояла все такая же.

Накануне утром ко мне явился кюре.

— Я хочу, — сказал он, — чтоб эта несчастная присутствовала сегодня на вечернем богослужении. Быть может, Господь сотворит для нее чудо в тот самый час, когда сам родился от женщины.

Я ответил ему:

— Вполне вас одобряю, господин аббат. Если на нее подействует богослужение — а это лучшее средство растрогать ее, — она может исцелиться и без лекарств.

Старый священник пробормотал:

— Вы, доктор, человек неверующий, но вы поможете мне, не правда ли? Вы возьметесь доставить ее?

Я обещал ему свою помощь.

Наступил вечер, затем ночь. Зазвонил церковный колокол, роняя грустный звон в мертвое пространство, на белую и мерзлую снежную гладь.

Послушные медному зову, медленно потяну-

лись группы черных фигур. Полная луна озарила ярким и бледным светом горизонт, еще больше подчеркивая унылую белизну полей.

Я взял четырех сильных мужчин и отправился к кузнецу.

Одержимая по-прежнему выла, привязанная к кровати. Несмотря на дикое сопротивление, ее тщательно одели и понесли.

Церковь, холодная, но освещенная, была теперь полна народу; певчие тянули однообразный мотив; орган хрипел; маленький колокольчик в руках служки позванивал, управляя движениями верующих.

Женщину с ее сторожами я запер в кухне церковного дома и стал выжидать благоприятной, по моему мнению, минуты.

Я выбрал момент вслед за причастием. Все крестьяне, мужчины и женщины, причастившись, приобщились к своему богу, чтобы смягчить его суровость. Пока священник совершал таинство, в церкви царила глубокая тишина.

По моему приказанию дверь отворилась, и мои четыре помощника внесли сумасшедшую.

Как только она увидела свет, коленопреклоненную толпу, освещенные хоры и золотой ковчег, она забилась с такой силой, что чуть не вырвалась

из наших рук, и стала так пронзительно кричать, что трепет ужаса пронесся по церкви. Все головы поднялись, многие из молящихся убежали.

Она потеряла человеческий облик, корчилась и извивалась в наших руках, с искаженным лицом и безумными глазами.

Ее протащили до ступенек клироса и с силой пригнули к полу.

Священник стоял и ждал. Когда ее усадили, он взял дароносицу, на дне которой лежала белая облатка, и, сделав несколько шагов, поднял ее обеими руками над головой бесноватой, так, чтобы она могла видеть ее…

Она все еще выла, устремив пристальный взгляд на блестящий предмет.

Аббат продолжал стоять так неподвижно, что его можно было принять за статую.

Это тянулось долго-долго.

Женщину, казалось, охватил страх: она, как завороженная, не отрываясь, смотрела на чашу, все еще временами сотрясаясь страшной дрожью, и продолжала кричать, но уже не таким душераздирающим голосом.

И это тоже тянулось долго.

Казалось, она не могла отвести взгляд от дароносицы и уже только стонала, ее напряженное

тело ослабело и поникло.

Вся толпа пала ниц.

Теперь одержимая то быстро опускала веки, то снова поднимала их, точно не в силах была вынести зрелища своего бога. Она уже не кричала. Вскоре я заметил, что она закрыла глаза. Она спала сном сомнамбулы, загипнотизированная — простите, умиротворенная — пристальным созерцанием блестевшей золотом чаши, сраженная Христом-победителем.

Ее унесли обессилевшую, и священник вернулся в алтарь.

Потрясенные свидетели грянули «Te deum» во славу милости Господней.

Жена кузнеца проспала сорок часов подряд, потом проснулась, ничего не помня ни о болезни, ни об исцелении.

Вот, сударыни, виденное мною чудо.

Доктор Бонанфан умолк, потом с досадой прибавил:

— Я принужден был засвидетельствовать чудо в письменной форме.

Перевод с французского С. Иванчиной-Писаревой